

В Москве вышла наконец книга, где под одной обложкой собрано литературное наследие Венедикта Ерофеева. «Почти все», как указано на титульном листе.

противопожарной профилактикой. Все лето они пропитывали деревянные срубы специальным раствором — от возгорания. Потом приехало начальство с проверкой. Тихонову предстояло перед комиссией продемонстрировать эффективность пропитки. Он взял клоч пакли и, окунув ее в спецраствор, «с довольством тайным на челе», не ожидая подвоха, поднес горящую спичку... Пакля, будто облитая бензином, мгновенно вспыхнула:

— «.....!»

Да, именно эти слова вырвались из уст опешившего «поджигателя». И никакие другие. Согласитесь, что парламентские выражения не в силах были бы выразить всю меру изумления, обиду и горечь оттого, что вся работа пошла прахом, псу под хвост...

Вот такая притча. Кто знает: правда или апокриф? Ибо Ерофеев был склонен создавать вокруг себя всякого рода мифы. Покуда сам не был превращен в мифологема, толкуемую так и этак.

И все же Вен.Ерофеев (несмотря на небольшой объем написанного) был в первую очередь литератором, прирожденным, до мозга костей. Свидетельством тому записные книжки, которые он заполнял и бережно хранил всю жизнь. В данном издании публикуется изрядная выборка (более сотни страниц): «Из записных книжек». Пожалуй, это самая существенная нечаянная или чаянная радость, которую получат читатели и почитатели Ерофеева.

Можно проглотить эти страницы запоем или, напротив, смаковать их небольшими порциями, растягивая удовольствие. И если в дальнейшем я буду чересчур перебарщивать с цитированием — не обессудьте.

Сказать просто, что его записки могут быть поставлены вровень с записными книжками Чехова и Ильфа с «Непричесанными мыслями» Ежи Леца, с «Плодами раздумий» Козьмы Пруткова и афоризмами Дон-Аминадо, — мало. Ибо Ерофеев есть Ерофеев. Он неподражаем, он сам по себе.

За внешней эксцентричностью ерофеевской манеры отнюдь не выпендривание, поскольку записи эти не предназначались для печатания и вообще не для постороннего взгляда. Это — свобода слова в самом полном и наивысшем своем проявлении. И каждый будет понимать Ерофеева в меру своей испорченности, эрудиции, интеллекта и, видимо, еще чего-то, чему нет названия.

Итак, верхний слой. Некоторые воспримут Ерофеева как парадоксального остроумца, придут в неописываемый восторг от его афоризмов и каламбуров. Хотя бы таких: «И в запой отправился парень молодой», «Идержки детопроизводства», «Покупайте советские часы — самые быстрые в мире», «Держись!», «Человек — это звучит горько (простите, сорвалось)»... Вот именно — сорвалось.

Вероятно, из Ерофеева мог бы получиться неплохой остроумец. Он однажды и сам обмолвился: *«Надо привыкать шутить по-«крокодильски», например так: «Будь у нее формы, я бы взял ее на содержание».*

Но нет, смехачество и зубоскальство не были его стихией. Скорее его можно занести в разряд домашних философов, чьи изречения замешаны на простодушии с желчью.

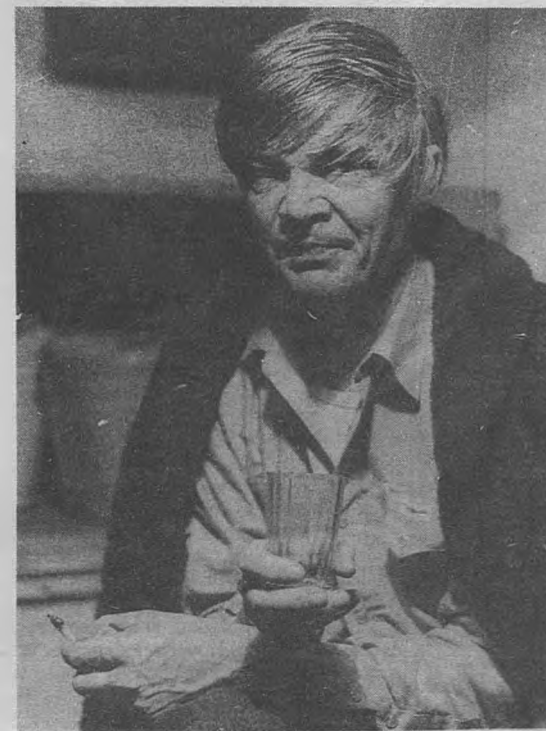
Другой пласт записных книжек. Они могут рассматриваться в качестве творческой лаборатории. Разве не любопытно взглянуть на святая святых — писательскую кухню, где там и сям разбросаны заготовки и фрагменты, как бы выпавшие ненароком из похмельного транзита «Москва—Петушки»?

Допустим, такое: «Ну, да что говорить, все зависит от душевного настроения. Вот и наш портвейн народ зовет иногда пренебрежительно: бормотуха, а иногда ласково: портвешок». Или еще из той же бочки: «Три лучших гишпанских города: Мадера, Малага и Херес». А вот: «У них харькотина взамен души, а вместо мозгов — блевота». Вас не тошнит? Тогда не угодно ли высококонтрастное умозаключение: «Я оптимистично гляжу

на наш народ. Количество подбитых женских глаз все-таки больше, чем количество доносков женских».

Стоит ли, впрочем, разлагать на составляющие невообразимый ерофеевский коктейль из роскошных метафор, диковинных сближений, ернического переименования шлягеров и классических образцов и медитаций, в которые на равных вовлечены титаны духа, политические деятели, герои злости дня и Венечкины сотрапезники и наперсники?

Тем более, что многие лексемы, собственно, не его сочинения. Это дневниковые фиксации услышанного где-то или прочитанного. В таком, к примеру, роде: «По радио: составление тяжелоатлетов в наилегчайшем весе», «В "Правде" 37 г. статья "Колхозное спасибо Ежову"», «Сослан в Тулу за гомосексуализм»...



«При всех его зигзагах и фарсах он был абсолютно не подвержен гипнозу общественного мнения, шел своим путем к прозрению вечных вопросов и мировых тайн...»

Венедикт Ерофеев. Фото Баженова.

Эти вполне заурядные фразы, вырванные из повседневного текста, приобретают — не странно ли? — в ерофеевской книжке какой-то абсурдистско-ироническое звучание. Слово он обладал неким особым магнетизмом — притягивать все, сопродное его душе.

Чего только он обнаружил в его записных книжках! Читателем, надо заметить, Ерофеев был феноменальным. Конгениальным — суперчитателем. Попробуйте понять, зачем-то ему понадобилось такое: «Савойская капуста для квашения непригодна (МСЭ, ст. 121)». А вот нечто натурфилософское: «Иногда, хоть и редко, свежесваренная моча светится фосфористическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена (проф. Бок)».

Откуда он выкапывал таких авторов? Однако это не было всеядностью — чувствуется своя система и свой отбор. Он искал собеседников в веках, ибо «дух реет, где хочет», — в изречениях философа, в шедевре гения и в поваренной книге. При том отторгалось проторенное и апробированное толпой, о чем говорилось с придыханием и пиететом.

Кстати, не следует всерьез принимать позднейшие ерофеевские иерархии пишущей братии. Из современников им более всего чтимы были Лотман, Аверинцев, Гаспаров — одинокие добыватели истины, отличающиеся интеллектуальной честностью. А в прошлом предметом его обожания безусловно был Василий Васильевич Розанов — «баламут с тончайшим сердцем».

При всех его зигзагах и фарсах он был абсолютно не подвержен гипнозу общественного мнения, шел своим бессистемным путем к прозрению вечных вопросов и мировых тайн.

Каким был он воистину, Венедикт Васильевич Ерофеев? Для прозрения нет лучшего средства, чем чтение его интимных записей. После шумных застолий и обещаний он, оставшись наедине, доверял страницам откровенное и сокровенное: «Живу один.

Так, иногда заглядывают разные нехристи и аспиды», «Каждая минута моя отравлена неизвестно чем, каждый час мой горек», «Оставьте мою душу в покое»...

Из Венечкиных охальных пассажей немудрено представить, что автор их — ого-го! выше крыши! забулдыга и жох! Но феномен Ерофеева — как писателя — в его читательской двуличности. Создается впечатление, что ему одинаково комфортно было и с «вершками», и с «корешками». Что ему без разницы, с кем чокаться и калекать — с рафинированными эстетами или со всякой пьянственной шелупенью, опустившимися мизераблями.

Однако, выходит, что это не так. Для Вени мукой было круглосуточное пребывание в больничной палате вместе с гегемоном — заядлыми

на меньше я не иду». Кто сказал о Ерофееве лучше, чем он сам?

...Пробираясь через чащу, сквозь колючки и заросли крапивы, так радостно бывает выйти на светлую поляну. Вот так же среди замысловатых словесных выкрутас и горестных парадоксов случается набрести в ерофеевских записках на нечто неожиданное, исполненное нежности, застенчивости, сентимента, исповедальности: «Просто — ходил в лес исследовать апрель, наковы его свойства», «Вижу, как цветут каштаны. Прихожу к тому, что ничего красивее калины ничего не цветет. Смотреть, смотреть. Нюхать, нюхать», «Мальчик величиной в 5 лютиков, в 2 одуванчика», «Ты видишь, я плачу»...

Что скажете? Надобно уточнить: Ерофеев был не только писателем, но скорее всего поэтом. Вслушайтесь в поступь строки: «Пора домой. Я чем-то удручен». Чем не тонкое стихотворение наподобие японских короткострочий? Все это был мир чистоты, непосредственности, такой хрупкий и беззащитный.

Увы, путь к этому простому раю не был прост. По Ерофееву лежал он через алогизм, выверты, хармсовщину. Или, другими словами, через противоиронию, которую истолковывают следующим образом: «Если ирония выворачивает смысл прямого серьезного слова, то противоирония выворачивает смысл самой иронии, восстанавливая серьезность — но уже без прямоты и однозначности».

Напоследок позволю себе еще одну картинку. То самое «непридуманное», которое служит подтверждением наивной веры читателя в то, что поэт в своей земной юдоли, облик и поведении, в каждой бытовой подробности должен походить на свои стихи.

Помню, как-то приехав ко мне, Вени сразу с порога попросил включить телевизор, что меня несколько удивило. Оказалось, что как раз в это время должны были демонстрировать «Ежика в тумане» — трогательный фильм Норштейна (впоследствии прославленного режиссера, а в ту пору никому неизвестного). О чем фильм? О том, как дивен, таинствен, пугающ, бережущ и добросердечен окружающий нас мир. Словом, несканзен. Вот и весь сказ.

В заключение хочу выразить признательность издателям и составителям, выпустившим безукоризненную в полиграфическом отношении, хотя и дорогую (четыре пол-литра можно купить на эти деньги), но такую драгоценную книгу. Из дробности и множественности записей («ума холодных наблюдений и сердца горестных замет») выстраивается хаотично причудливое и одновременно на редкость соразмерное и органичное сооружение, имя которому «Евангелие от Ерофеева».

Не могу не удержаться, чтобы не привести еще один из его заветов. Дурашливость и «сниженность» формы выражения не должна обманывать — за ней серьезное, продуманное кредо писателя, своего рода profession de foi. Вот: «Коллекционировать те способности, которые отличают человека от всей фауны: 1) способность смеяться, 2) пить спиртные напитки, 3) совершать неприличные поступки, 4) поступать наперекор собственной выгоде, 5) решиться поднять на себя руки»...

Возможно, последуют переиздания, и потому рискну высказать некоторые пожелания и замечания. Во-первых, хотелось бы увидеть записные книжки в максимально полном виде (мне доводилось встречать подделки ерофеевских афоризмов, сюда не вошедшие). Во-вторых, среди записей Ерофеева имеется множество бесхозных цитат (он же записывал их для себя и не считал нужным помечать автора). Однако некоторые дремучие читатели наверняка будут повторять как ерофеевское «дуновение вдохновения» или «в небеса запустил ананасом». Не худо бы поставить в таких случаях в угловых или квадратных скобках — Цветаева, Белый...

Речь идет не о солидном справочном аппарате. Расшифровка всевозможных парфраз, аллюзий, а также уже необходимое сегодня раскрытие таких реалий вчерашнего дня, как, скажем, «три шестьдесят две» — это задача иного, академического издания. Но необходимый шаг к этому сделан...

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

Москва

Эту книгу ждали, наверное, многие ценители дарования Венедикта Ерофеева. Книгу, где под одной обложкой было бы собрано все его литературное наследие. «Почти все» — так осмоторительно уточнено на титульном листе. Вкупе с концептуальным предисловием М.Эпштейна и мемуаризированным послесловием Черноусого (И.Авдиева) набралось на полновесный том в четыреста страниц.

Основной корпус составили вещи, ставшие уже чуть ли не классикой, зачитываемые и растасканные на речения. Это, само собой, поэма «Москва—Петушки», затем трагедия в 5-ти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», а также «развязное» эссе о Василии Розанове и саркастический коллаж «Моя маленькая лениниана».

Обо всем этом уже сказано и написано предостаточно, и потому не терпится скорее заглянуть в записники. Удалось ли что-либо по сусекам наскрести?

Вот: наброски к трагедии «Диссидент, или Фанни Каплан». Далее: ранний опыт в прозе «Благовествование» (с пометой: окончание рукописи утрачено). И, наконец, мини-эссе «Саша Черный и другие». Позволю себе остановиться на этой последней вещи, потому что имею к ней некоторое касательство.

В пору начала нашего знакомства Венечка Ерофеев, узнав о моем увлечении Сашей Черным, сделал мне этот чудесный подарок («в знак устоявшейся приязни», как сказано в одном из его инсриптов). Увы, при сравнении печатного текста с рукописным я обнаружил целый ряд мелких погрешностей. А может, и не мелких, коль скоро они касаются Вен.Ерофеева. Судите сами: во фразе: «Глядя на вошь, Рукавишников почесывает пузо, Кузмин переносицу...» правильно: «Глядя на вещи...» Представляю, как всполошатся высоколобые истолкователи ерофеевских экстравантанностей: «Какая вошь? Почему вошь? Каких только глубокомысленных доводов могут по этому поводу понакрутить...

В годы оны Ерофеев нередко разражался блестящими тирадами по адресу «славных серебряновековых ребятушек» и прежде всего Северянина и Гиппиус, в которых был влюблен «без памяти и по уши». И я не раз пытался склонить его к тому, чтобы закрепить эти импровизации на бумаге. Но тщетно! Ерофеев никогда не писал по заказу. Видимо, в его душе срабатывал какой-то внутренний протест.

Надо полагать, что именно по этой причине так и не была закончена «Фанни Каплан». Близки и далекие доброжелатели донимали Ерофеева: ну, скоро ли завершишь «Фанни»? Каюсь, и моя толика есть в этих напоминаниях.

Впрочем, были и другие препоны — объективные и явные. И жесточайшие приступы смертельной болезни. И изобилие гостей и визитеров в последние годы. Недаром Вени как-то заметил: «Т.е. виною молчания еще и постоянное отсутствие одиночества: стены закрытых кабин мужских туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых — ни строчки». И еще — исключительная писательская требовательность — прежде всего к себе.

Помню, должен он был подготовить интервью для «Континента». Другие выдают подобный эксклюзив одной «левой». На замечание такого рода Вени ответил чисто по-ерофеевски: «Я так не могу — мне ведь надо с в.бонами».

Прошу прощения за непотребное словцо. Пользуясь случаем позволю привести здесь свой давний разговор с автором поэмы «Москва—Петушки» касательно применимости не-нормативной лексики в литературной речи. До недавнего времени великая русская словесность чуралась заборной нецензурщины, блюдя как зеницу ока чистоту языка. В крайнем случае, чтобы не шокировать читателя, подыскивались эвфемизмы, как поступил, скажем, Солженицын в своей лагерной повести.

Ерофеев на это возражал: бывают ситуации, когда никакие паллиативы невозможны. И в качестве примера поведал историю, имевшую быть с его другом В.Тихоновым.

Тому довелось как-то заниматься